

ЛЮДМИЛА ШАРГА

ДО ТРЕТЬЕГО НЕБА

Из цикла стихотворений

День безмятежен и весел,
можно свободно парить,
старая мойра Лахесис
видно забыла про нить.
Путь и далёк и не к спеху,
только судьбу не избыть –
в птичьем гнезде под застрехой
дедовской старой избы
девять голов желторотых,
девять горластых птенцов...
Кто-то откроет ворота,
отодвигая засов.
Лишь веря проскрипела
на перекрёстных ветрах,
девы привидится тело,
лёгкий послышится шаг.
Встретишься с пряхой седою
и позабудешь про мойр,
Доля, а может, Недоля
скажет: пора и домой.
То суета – то морока,
тяжко усталой душе,
что ж ты, как птица-сорока
падка на всякую мшель.
Глянет сурово: не жалко
беглых шутов да шутих,
приостановится прялка
лишь на мгновенье – на миг.
И невзирая, что нежить
где-то в подпечье скулит,
взглядом одним перережет
ставшую тоненькой нить.

*

Сны мои снятся кому-то чужому,
мне ж – суетливая явь – без стихов.
Белый налив да зелёный крыжовник,
всё, что осталось в краю глухом.



Новых стихов не прошу – не надо,
буду молчать, коль велел: молчи.
Здесь, за оградой старого сада,
голос Твой близок и различим.
Память изодрана, латка – на латке:
что не изжито – о том поём,
но поутру паутиной заткан,
снытью заросший, дверной проём.
Вздых осторожный иль шаг осторожный,
что-то волнует осоку-траву,
напоминает лишь подорожник –
всё ещё есть,
всё ещё – живу.
Здесь, где ветла над рекой нависла,
и до заката спит козодой,
мечется Синее коромысло,
словно душа моя – над водой,
рвётся к чужим берегам далёким,
к белым пескам и седым морям,
будто на привязи – тенью лёгкой –
здесь, где в полнеба горит заря,
где в камышах да в сухой осоке
новые гнёзда вьёт тоска...
Берег пологий – берег высокий,
меж берегами река Ока
тихо несёт имена и числа,
всем обещающая свет и покой.
Дремлет душа моя коромыслом
Синим – на привязи – над Окой.

*

Из детства повеяло запахом хлеба
и запахом дыма и сладким и горьким,
становится былью вся давняя небыль,
и мчатся салазки по катанке-горке
туда, где над речкою вьюга-позёмка
зменится, клубится, как будто живая,
и первый ледок осторожный и тонкий
собой укрывает.
Салазки с разбегу уходят под воду,
и я пробуждаюсь от маминой песни,
где каждое слово родного извода:
кресало, Креслава, кресать и воскреснуть...
...от запаха дыма, от запаха хлеба...
Дорожкой знакомой – по катанке-горке
на старых салазках из тёмной каморки
туда, где вся быль превращается в небыль –
до третьего неба.

*

Чай с молоком – заморская забава.
А бабушка заваривала травы,
забеливала каплей молока
и добавляла старого медка.

Он растекался в травяном настое,
и беды отступали прочь – пустое,
и хворь любая исцелялась вмиг;
Шалфей, чабрец, пяток сосновых игл,
цветы красавки – редкая отрава...
Чай с молоком – заморская забава.
В моём ни чая нет – ни молока.
Трава полынь – летуча и горька,
кошачьей мяты листья да коренья,
И одолень-травы –
цветок забвенья,
что прорастает в старицах речных,
где жители избушек лубяных
живут по-ра,
по-ра и помирают,
и красный угол в избах прорубают,
как пращуров их делали допреж.

Но не заполнить чаем эту брешь.
И берег левый, он же – берег правый
от куполов пылает златоглавых:
а я меж ними – в серединном рву
ищу свою русалочью траву,
утраченную водную лилею,
и верю, что сыщу и уцелею;
... по-ра живу...

*

Библейская трава горька и незабвенна.
Летит полынный дух и сусшит кровь и вены
тому, кто раз вкусил от горечи её.
Снега не заметут,
и ливень не зальёт.
Библейская трава, откуда память эта?
В соцветиях седых, в сплетенье дымных веток
не то успенья свет,
не то забвенья лёд
тревожит и зовёт,
тревожит и зовёт.
Библейская трава горька и бесприютна,
но источает жар, который за минуту
сожжёт меня дотла, до дна испепелив;
на миг припомню дом в густой тени оливы,
и смуглое плечо,
и взгляд тревожной лани...
Властитель обречён, снесаемый желаньем,
и – как надсмотрщик – зол,
как евнух – пьян и скуп:
ему бы только раз испить от тёмных губ,
от диких скул, от щиколоток тонких,
от девственной груди...
И старцу, как ребёнку,



согревшемся меж телами *ависаг*,
приснится листопад в неведомых лесах,
пригрезится полёт опавшего листка,
познавшего, что смерть прекрасна и легка.
Душа рванётся прочь из немощного тела
в рябиновую ночь с листвою облетелой,
очнётся, чуть дыша,
в заброшенном дворе...
Там, где трава емшан
дымится на заре.

*

Загляни в моё зеркало
и листай
отражения, как страницы,
и увидишь, как отстанут от стай
перелётные сирий-птицы.
Как покорно складывают с утра,
опалённые болью крылья,
забывая язык воды и трав,
и ковыля и чернобыля.
Как вдали от яблоневых долин,
от дремучих глухих урочищ,
чертят пёрышком лебединый клин
и дорогу себе пророчат
в светозарный зарев – от зимних стуж,
где медов полна восковая сушь,
где у чистой белой криницы
перелётные сёстры-птицы,
окунувши крылья в живой родник,
обращаются в дев печальных,
на берёзу вяжут льняной рушник,
примечая своё начало.
А когда истлеет рушник – летят
в светлый Ирий,
в дивный небесный сад.
Загляни в моё зеркало, коли смел:
вместо сада – тьма непроросших стрел.
И от брани земля дымится,
и от крови темна криница.

*

Околоточек мой, околица,
девять яблонек – на версту,
девять лучников – вражья конница,
стрел у каждого полон тул.
А под старшим конь в расписном седле,
старший лучник собой пригож.
На роду написано: тленом тлеть,
пропадай, душа, ни за грош.



Он зелёному змию молится
и зелёным змием повит...
Околоточек мой, околица,
сонных пажитей аксамит.
Сбросит вершника в землю зяблую,
перекусит конь удила,
по весне молодою яблоней
прорастёт ворожья стрела.
Сушит тёмную кровь верховица,
бел да зелен от яблок дол.
Околоточек мой, околица,
всё из яблонек частокол.

*

Окончилось время странствий,
на убыль пошла луна,
что знает о постоянстве
туманная пелена?
В ней солнце поспешно прячет
последний осенний день,
в ней кто-то тихонько плачет
и мечется чья-то тень,
что раньше легко умела
прощаться и всем прощать,
но крест из омелы белой
давно сменила праща.
Становятся дни веками,
взбивает волна шугу,
а тень собирает камни-боглазы
на берегу.
А ей бы – да восвояси
уйти, отрясая прах...
От слухов и разногласий
спасенье найти в стихах
и, верно, отчасти – в прозе,
где рифмы меж строк скользят;
а воздух над морем розов,
как тысячу лет назад.
Скандальные попрошайки
из рук вырывают снедь –
безжалостны птицы чайки,
да стоит ли тень жалеть...
И осенью и зимою
молчит она об одном:
о синем бескрайнем море,
забывшемся зимним сном.
А где-то – за облаками –
рождается новый день,
в нём будут праща и камень
и крест, и чужая тень.

*

Помирать – так тихо и без паники,
воспарить над болью бытия,
где кнуты и их обратка – пряники
мальчиков находят для битья.
Где давно чужому богу молятся,
позабыв о том, что свой – внутри...
Вспоминая буквы глаголицы,
на восходе утренней зари,
всё принять, и кару и возмездие,
и когда душа оставит плоть,
пальцы сами лягут в двоеперстие –
в тёмную крамольную щепоть.

*

Окажутся детским лепетом
стихи мои...
боже правый,
в сравнении с тем, что лебеди
зимуют у переправы.
Изящные шеи длинные
доверчиво к людям тянут,
и кажется, что былинные
вот-вот времена настанут.
Заходится сердце в трепете,
ледок неверия тает,
когда на закате лебеди
плывут золотою стаей
по водам, как будто – посуху –
в урочище древних стариц,
где в рубище ветхом, с посохом
навстречу выходит старец...
Все злобные камни нелюди
рассыпаются в складках пазух,
несут меня гуси-лебеди
на крыльях любимых сказок.
И слышится речь родимая,
и близится третье небо.
Дорогою лебединою
за стаей пора и мне бы.
Забывать о зубовном скрежете,
о тенях луны кровавой,
и помнить лишь то, что лебеди
зимуют у переправы.